

Метеорологический сонет

В июньском небе закалялась сталь,
Деревья сжались ветряным корсетом.
Всю ночь гремело. Ливень мыл асфальт
И с крышами высоток вёл беседу.
Он нудно, монологом говорил
И ладил лужам жёлтую оправу.
Циклон сигару дымную курил,
Улёгшись на Кузнецкий Алатау
Вплоть до прогнозами назначенного срока.
Ручьи из слёз ливнёвок-водостоков
Уносит располневшая река.
И там, вдали, объёмисто-огромны
Ректификационные колонны
На ордерах покоят облака.

Пиксельное небо, выколоты точки,
Догорает в кобальте жёлтый день весенний.
Ветер потрясает воротом сорочки,
И сию, последнюю, разделя со всеми.

С шарким шинным шорохом мчат автомобили,
Прорезая синее габаритным красным,
В поле пахнет известью, в поле пахнет пылью,
Выхлопными газами с федеральной трассы.

В полосе отвода пахнет креозотом,
Дремлют светофоров огоньки глухие.
Вдаль бегут составы. Гром за горизонтом
Растрясает облачность бильярдным кием.

Пролегли дороги за моря, за горы
Лентою муаровой, серым коридором.
Вдалеке за Томью расстелился город.
В полосе над западом спят гелиодоры.

Мой первый ход прямее, чем паренский нож.
Мой ход второй круглей, чем медный пятак.
Вденьте мне в ноздри грубые нити рогож,
Я завяжу их внутри — и никто не узнает как.
С такой точки зренья душный плацкартный вагон
Есть больший мистик, чем старый суфийский шейх —
Он следует по Пути не шагом и не бегом;
Конечная точка билета всегда выгоняет взащей.
Танцуй, проводница, танцуй на мешке с бельём!
Испарину губ твоих я буду видеть во сне.
Я ухо своё в дверной пригвоздил проём,
Жалея немного о том, что не остался с ней.
Маршрутная скорость есть спорная величина,
Удары плетей бесстыкового пути
Бичуют вагоны-архаты. Дорога одна,
И вплоть до списанья с неё невозможно сойти.

Очень много, быть может, тысячу лет спустя,

Станет вдруг возможным попасться

в сети знакомых улиц

И привиться жилой на городских костях,

На бревенчатых стенах, что дремлют, слегка ссутулясь.

Через низкую облачность этот город не видит Бог

И дожди на него насылают почти вслепую,

И теперь наступает ночь, и город впотьмах оглох,

И его не дозваться, сквозь морось бредя скупую,

И воды не испить с отсутствующего лица.

Вот, прищутив глаза, любой подтвердит учёный —

Ни в какой парадигме сей город не описать,

Нетожественный сам себе, сам на себя обречённый.

Только я не учёный, и к чёрту, стало быть, диамат,

Эту методологию всю, и тезис, и антитезис;

Пусть Затеевский на сторонах своих

другие взрастил дома,

Но вдоль них по утрам всё так же гуляет его Лахезис.

И на месте стоя, хочется задышать,

Только поры на коже забились зловонным салом,

Из раздутых ноздрей-колодцев испаряется, бьёт душа —

Что же, Господи Боже, с воздухом этим стало?

Город спит, недвижимый, и по его спине,

Иссечённой крест-накрест асфальтовыми ремнями,

Бродят духи нечистые, не исходя в свиней,

И по нервам его проводов кочуют от ямы к яме.

В этот город прийти возможно, а выйти никак нельзя —

Ни верхом, ни пешком, ни по воздуху, тут хоть тресни.

Он лежит, сам собою в тугие объятия взят,

Догнивает в сыром ноябре под трамвайные песни.

Ab ovo, с нуля, от печки — висит на колу мочало,
Блестящие дагеротипы благочестивых снов
Лежат в ледяной воде у ведомственных причалов,
И города в них не видно, но городу всё равно.

Начерчен кривой рукою, в больной голове воссоздан,
Граничное представленье — от Бердской до речпорта,
Резиновой дымной стужей напитан тяжёлый воздух,
И город застыл за едой в парящих зловонных ртах.

Не сложит Иеремия о городе этом прозы,
Поскольку от этих песен любой бы другой сомлел —
У города лейкемия с высоким лейкоцитозом,
Он лыс, истощён и тесен, лежит на сырой земле.

И в тонах его артерий неразличимы ямбы;
У ЛПК, в изголовье, в фарфоровой темноте,
У самой его подушки согбенный сидит ноябрь,
По капиллярам улиц распыскивая метель,

Глаза закрывая нервно, забыв цветовую гамму,
И в этом условном сером не досчитать до ста.
На траверзе Пушкина стоят корабли да Гамы,
Но мне не уйти и с ними, поелику ледостав.

И в русле шуга и сало, и Томью рук не умоешь,
И голову зажимает не шапка — но только нимб;
У мельниц, на гребне дамбы сидел у костра Камознш,
И я сам себя заметил среди говорящих с ним.

Звон струн, рассекавших кожу, скликал
заозёрных мавров —
От Знаменской, с Пролетарки, с Каргасного, с Водяной.
Вот — путь, невозможный вовсе, вот — город,
который навран
В морозной парейдолии, в уверенности стальной.

О прошлого днях стеклянных,
О сумерках оловянных,
Поведай мне, чужестранец, и лучше всего соври,
Что в городе деревянном —
Ока́янном, окаянном —
Любой, кто до двух считает, всегда восклицает: «Три!»

На Строевой, на Шпальной, на топкой
Правобережной,
Любой назовётся Азом и сразу же всем воздаст.
В любом, самом новом, фильме сюжет
остаётся прежним,
Поскольку в библиотеках есть только Экклезиаст.

Метелью подбитый город не породит пророка.
Пусть гордые мореходы лениво жуют бетель,
Но с сизигийным приливом поднимется поророка,
И с юга подует ветер, и двери сорвёт с петель.

Нежданная остановка, пит-стоп на девятом круге,
Под матовой снежной крошкой промёрзлый
шершавый дёрн,
И снег на руках растает, и я умываю руки,
И всё, говорят, проходит, и это к весне пройдёт.

Истомно-истекающая тишь
Из окон, из подъездов, из-под арок:
Вот город в жестяной бумаге крыш,
Похожий на рождественский подарок.

Восток, затем — восток-юго-восток,
Зефир плурует в строгих створах улиц;
Над лужей переброшенный мосток,
И фонари от времени согнулись.

Вот серый дом, в котором ты жила,
На параллелограмме тротуаров,
На биссектрисе острого угла,
Что к северу от лысого бульвара.

И никаких, и никаких следов
В молчании, нападавшем за ворот.
Укрыт обызвествлённою водой
Немой, не мой обетованный город,

Неявственно похожий на тебя,
Он — в туче снеговой широкополой,
От остановки — через парк — до школы,
В условном наклонении скорбя,
Прощает невозвратные глаголы.

Письмо оловянного солдатика

Я счастлив был в ту ночь, когда ходил дозором,
Когда у стен твоих навтыяжку стоял.
Теперь я видел всё: Оркады и Азоры,
И ветры, от меня ни слова не тая,

Велят тебе писать, а я, рождённый старым
По замыслу творца, не знаю слов любви.
Пассаты, паруса, портовые гитары
Поют не о тебе. Ну, vale, будь, живи.

А впрочем, нет, не всё: мне кажется, я помню,
Зачем искал тебя одним движеньем век;
Как порохом картуз, я был тобой наполнен,
И ночь была длинней, чем самый долгий век.

Я груды овощей с картины Арчимбольдо,
Я оловянный пек, испекшийся в печи,
Беспашпортная рвань, мне не бывает больно,
И перец ностальгий ни капли не горчит.

Шагистика в строю не ровня пируэтам,
Бесцельность марш-броска не есть большая цель.
Родство далёких душ не в этом ли, не в этом?
Мне не сидеть с тобой на золотом крыльце.

И значит, всё равно, куда уносят черти,
Где ночью плавал я и где плыву с утра.
И я надеюсь, ты себя не предначертишь
Мне вытяжкой ступни, как росчерком пера.

По ком теперь мой взвод нацелит аркебузы?
Мне всё равно, меня ветра уносят прочь,
А надо мной плывёт, как чёрная медуза,
Вальяжна и влажна стрекающая ночь.

Все яхонты твои, не веся и карата,
Мне светят ярче звёзд и топовых огней.
Я возвращусь на стол, как перстень Поликрата,
И счастье никогда не изменяло мне.